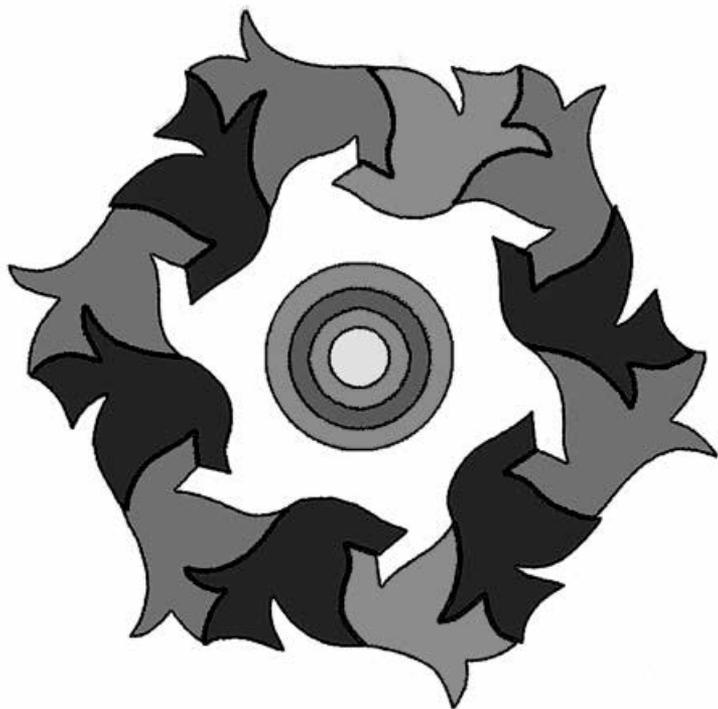




Муся Гланц

**ЛОСКУТНОЕ  
ОДЕЯЛО,  
*сшитое памятью***



Муся Гланц

**ЛОСКУТНОЕ  
ОДЕЯЛО,**  
*сшитое памятью*

БОСТОН • 2021 • BOSTON

**Муся Гланц** *Лоскутное одеяло, сшитое памятью*  
**Musya Glants** *Patchwork Stitched by Memory*  
*(Loskutnoye odeyalo sshitoye pamatyu)*

Copyright © 2021 by Musya Glants

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1950319398

Library of Congress Control Number: 2021930754

Published by M•GRAPHICS | BOSTON, MA

📄 [www.mgraphics-books.com](http://www.mgraphics-books.com)

✉ [mgraphics.books@gmail.com](mailto:mgraphics.books@gmail.com)

Book Design by M•GRAPHICS © 2021

**На обложке:** рисунок Евгения Золотарева

При подготовке издания использован модуль расстановки переносов русского языка **batov's hyphenator™** ([www.batov.ru](http://www.batov.ru))

Отпечатано в США

*Памяти моих родителей*

**Моему мужу, детям,  
внукам, правнукам**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Несколько слов . . . . .	11
Пришла война . . . . .	13
Рига после войны . . . . .	103
Моя Сибирь. . . . .	205
Мой Ленинград . . . . .	262

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ

*Но в памяти такая скрыта мощь,  
Что возвращает образы и множит.*

Давид Самойлов

**В** один из дней я нашла в почтовом ящике открытку от моего внука, посланную после того, как он побывал в Музее Рембрандта в Амстердаме. Он писал: «Я думал о тебе, глядя на картины, и о том, что ты рассказывала мне, когда мы вместе гуляли — о художниках, да и вообще о многом, что было в твоей жизни».

Я поставила открытку перед собой и долго смотрела на изрытое морщинами лицо рембрандтовского старого еврея на портрете и думала, какими неведомыми путями тянутся к нам ниточки прошлого, вплетаясь в нашу сегодняшнюю жизнь и по-особому окрашивая её, думала, как эти ниточки соединяют то, что ушло, с тем, что есть и будет. Вот тогда-то я и решила написать, как всё было вокруг меня и со мной, сначала семилетней девочкой из благополучной буржуазной семьи в довоенной Латвии, в одну ночь превращённую вместе с тысячами таких же других в беженку, очутившуюся на другом конце света в среднеазиатском кишлаке, испытывающую постоянный физический голод, сменившийся потом моральным голодом взрослого человека, не отступавшим годами. Такой очень личный рассказ о, казалось бы, известном, создаёт глубину и колорит особой достоверности. Сердце другого человека с готовностью откликается на живые впечатления, вызывая ассоциации и большее понимание.

Мои воспоминания, как и любые другие, могут быть в чем-то слишком субъективными и неточными, но это иску-

пается их искренностью. Я была частью того беспощадного мира, который в короткие мгновения лишал людей надежд, обрекал их на жестокие страдания и горе, когда детей вырывали у родителей, оставляя их сиротами, и любящих разлучали навсегда. Я чувствую, что должна рассказать не только о себе, о прожитом и пережитом, о тех, кто был опорой в моей жизни, но и о тех, менее счастливых, погибших в этом водовороте событий — о друзьях моего детства и молодости, о родных и близких, кого я любила и чью горькую судьбу я чудом избежала.

Эти записки могли появиться только благодаря дорогим мне людям, и в первую очередь моему самому близкому другу, моему мужу Алексу, его беззаветной поддержке всегда и во всём. Я не смогла бы довести работу до конца без постоянного поощрения и веры в меня таких моих друзей, как Мэри Тоул и Дженет Валиент, Венди Салмонд и Джон Боулт, и моего давнего товарища, художника Евгения Золотарёва. Я также благодарю коллектив журнала *Experiment* (Эксперимент), и отдельно ещё раз проф. Д. Боулта, и издательство *Brill Leiden* (Boston), опубликовавших мои воспоминания «As Life Flows on» (на англ. языке, № 24, 2018) и любезно согласившихся на их русскую публикацию.

## ПРИШЛА ВОЙНА

**Н**ормальная жизнь кончилась раньше, чем началась война. В один из июльских вечеров папа приехал на дачу позже обычного, очень возбуждённый, и сразу же начал рассказывать, что происходило в городе в этот странный день.

Обычно я мало прислушивалась к подобным разговорам взрослых, но на этот раз папа говорил о чём-то ни на что не похожем. Он рассказывал, что на улицах Риги были толпы народу, что многие люди радостно кричали и бросали цветы в солдат, стоящих на танках, что какое это счастье, что город заняли не немцы, а советские, и что сейчас начнётся у нас новая и счастливая жизнь, основанная на свободе, равенстве и братстве. Я не знала, что такое «танки» и не очень понимала, в чём теперь наше счастье. Только много лет спустя, во взрослой жизни я поняла, как наивен и доверчив был мой папа. А в тот вечер, пока родители без конца обсуждали события, я думала о своём любимом мячике, который в этот именно день как-то мистически и неожиданно пропал. Я бежала за ним по двору нашей дачи, по солнечной дорожке, которая вела к большим ёлкам, и уже приготовилась нырнуть за ним в полутьму под густыми ветвями, когда вдруг поняла, что его там нет. Это было настолько невероятно, что мне стало страшно. Сколько я его ни искала, его там не было, хотя укатиться мячу было невозможно — он неминуемо упёрся бы в забор. Этот день, 17 июня 1940-го года, в который Советские войска оккупировали Ригу и навсегда переломил наши жизни, хотя мы этого тогда ещё не понимали, так и остался в моей памяти, как день, когда куда-то укатился и исчез мой любимый яркий мяч.

Та часть жизни, которую всегда потом называли «прошлая» или «до войны», и сейчас живёт в моей душе и памяти яркими картинками, голосами далёких или давно умерших людей,

ощущением иного, и потому более прекрасного мира, того мира, в котором реальность и мечта рядом, и их тяжело отделить друг от друга.

После нашего «освобождения» Советской Армией (так большевики называли свой сговор с Германией) папа не сразу осознал суть происходящего и поначалу не унывал. Даже разговоры о предстоящей национализации нашего магазина и конторы не слишком пугали его. Я помню его, стоящего в светлом костюме-«тройка» у книжного шкафа, где поблескивали корешками книги его любимых советских писателей, и с энтузиазмом убеждающего маму, как хороша будет жизнь при новой власти, когда можно будет просто честно трудиться, и все будут равны. При этом он плохо, видимо, представлял себе, где и как он будет трудиться, потому что на конкретные вопросы моей практичной мамы ответить не мог. Избавление от иллюзий давалось моему папе с большим трудом. Даже когда война уже началась, и мы во время бомбёжки бежали на эвакуационный поезд, и оказалось, что наша бабушка ушла из дому в домашних тапочках, то на все её сетования мой папа с уверенностью говорил: «Мама, успокойтесь! Что, я Вам в Советском Союзе на туфли не заработаю?» Эти его слова долгие годы были горькой семейной шуткой, когда речь заходила о возможностях, которые Советская власть давала человеку.

Но постепенно настроение в нашем доме менялось. В нём воцарялось уныние. Папа постепенно становился задумчивей, меньше улыбался, и его планы становились всё менее грандиозными. Его голос стал звучать приглушённо, и он совсем перестал шутить. Это было плохим признаком, потому что без шуток и анекдотов папа не мог жить. Разговоры мамы с бабушкой были смесью вздохов, воспоминаний и страхов за будущее. Впереди им виделась тревожная неизвестность, а прошлое становилось в этих воспоминаниях всё прекраснее. Всё чаще разглядывали они альбом с фотографиями, как бы пытаясь эту ускользающую жизнь удержать.

В той, довоенной жизни, которая застыла в мамином альбоме, мы гуляем по рассыпчатому золотистому песку Рижского Взморья. Вокруг нас — дамы в расклёшенных брюках по моде

тех лет и весёлые самоуверенные господа... Мы гуляем и по центру нашего элегантного города, который рижане любят называть «маленький Париж». О существовании его, правда, в «большом Париже» даже и не подозревают. Мы снимаемся на фоне знаменитых городских часов «Лайма», что значит «счастье» и жуём шоколад с тем же названием. На снимках мы заслоняем своими фигурами голую нимфу — фонтан перед Оперным театром, и на карточке видны только мы и нимфина голова, на которой покоится огромная чаша, полная воды. Струи стекают по нимфе, и она блестит, и это видно даже на фотографии. Лица моих родителей беззаботны, они ещё не прислушиваются к раскатам голосов Гитлеровских митингов. Их ещё не тревожит, что мудрый владелец шоколадной фабрики «Лайма», забрав всех желающих работников с собой, переехал в Палестину. Мама на этих фотографиях молодая, симпатичная и чаще всего в очень причудливой модной шляпе. Я помню одну из этих шляп, ржаво-коричневую, или как мама любила говорить, «кирпичного» цвета. Вместе с этой шляпой надевались такого же цвета крокодиловые туфли. Однажды, много лет спустя, когда я как-то купила себе новые туфли, что само по себе было огромным событием жизни, мама сказала: «У меня были очень похожие до войны». — «Да, действительно похожи» — подтвердила я. Мама посмотрела на меня удивлённо и в своём обычном категорическом тоне с раздражением возразила: «Ты не можешь их помнить, ты была ещё слишком маленькая. Не выдумывай, пожалуйста!» А я и не думала выдумывать. Просто я их помнила, узкие, изящные, из ярко-коричневой кожи, блестящие, со шнуровкой впереди и тонюсенькими прожилочками между чешуйками змеиной шкурки.

\* \* \*

Из той, довоенной, жизни запомнилось очень многое. Конечно, это отдельные куски, картины и сцены, но яркие и сочные. Удивительно, что с годами краски не меркнут в моей памяти. Я хорошо помню, как папа водил меня в свой магазин. Папа вместе с маминым братом, моим любимым дядей Кубой,

были владельцами большого магазина готового платья на центральной улице Риги — улице Бривибас (улица Свободы). Магазин был просторный, и ряды тяжёлых и тёмных пальто и костюмов на вешалках заполняли всё помещение, вызывая ощущение беспросветной скуки. Было трудно поверить, что кто-то всё это покупает. Тем не менее дела шли совсем неплохо, если судить по нашей жизни. После войны папа показывал мне блеклые следы от вывески на брандмауэре, где с трудом, но можно было прочесть фамилии владельцев. Это его всерьёз беспокоило, потому что в советских анкетах он, естественно, о своём «буржуйстве» не упоминал во избежание серьёзных неприятностей. И мне было строго-настрого приказано об этом помалкивать.

Обязанности в магазине делились между его двумя владельцами так, что папа имел дело с заказчиками и покупателями-оптовиками в провинции и разъезжал по всей Латвии, а дядя занимался делами в магазине. Это как нельзя лучше соответствовало их характерам. Спокойный, уравновешенный и немногословный дядя не мог заменить моего отца в его поездках, а папа страдал бы от скуки, сидя на месте. Однообразие раздражало и утомляло его, а в разъездах была постоянная смена мест и впечатлений. В каждом городе и городочке у него были давние, хорошо налаженные связи и знакомства. Его, как желанного гостя, встречали не только хозяева его любимых пансионатов и ресторанов, но и партнёры по делам, потому что он был порядочным в сделках и весёлым, лёгким человеком. Вместе с товаром он привозил новые анекдоты, охотно рассказывал их, и первым же и смеялся. Он вкусно ел, много шутил и болтал, а по вечерам перекидывался в картишки. Эти поездки были для него не только работой, но и своеобразным удовольствием. Они вносили в его жизнь ту атмосферу свежести, которая имитировала настоящие путешествия, к которым он так стремился.

По-настоящему папа путешествовал только однажды. Это было в его ранней молодости, совпавшей с депрессией конца 20-х годов. Работы в Риге не было, жизнь была бедной, непростой и, как казалось, бесперспективной. Вот тогда-то мой папа

и его друг Филипп решили попытаться счастья в чужих краях. Фантазёры и мечтатели, они выбрали Бразилию. Рио-де-Жанейро звучало заманчиво и экзотично. Пляжи Капакабана, смуглые красавицы, сказочная жизнь в апельсиновых рощах... Так как денег не было, то двигались медленно, стараясь в каждом месте немного заработать. Так они повидали Прагу, Берлин, Париж и Лиссабон. Отовсюду папа привёз довольно приличное знание языков, и потом всю жизнь мог легко на этих языках читать и поддерживать весьма сносно лёгкий разговор. Эта его способность к языкам была просто удивительной, равно как и его великолепное знание географии, любовь к которой он передал и мне. И всё это при том, что фактически он почти нигде, кроме начальной школы не учился.

Действительность в Рио оказалась другой, чем молодые люди предполагали. Они были там никому не нужны. Работа была только подённая, тяжёлая. Папа и Филипп слонялись по пляжу, где, правда, было множество красавиц, но те не замечали новых искателей приключений. Они подставляли солнцу свои бледные тела бедных городских юношей, часами смотрели на переливчатую синь океана, на бронзовую массу крикливой толпы и ждали. Они ждали чуда. С каждым днём ждать становилось всё труднее. Огненные апельсины и пышная неестественно белая булка всё больше приедались, и всё чаще хотелось мяса и маминого супа. В то же время письма из дома становились всё более настойчивыми. Моя бабушка, которая тогда ещё ничейной бабушкой не была, звала домой. Она писала, что дела пошли лучше, и люди стали больше зарабатывать, а уж ему, её красавцу и умнице, и вовсе не о чём беспокоиться. После недолгих колебаний папа не устоял и вернулся, а Филипп остался. Ему некуда было ехать, никто его не звал и не ждал. Как папа узнал много позже, не сразу, через годы, что Филипп стал владельцем сначала книжного магазина, а потом и собственного издательства.

Своему решению вернуться папа сам в душе удивлялся, потому что жизнь дома тяготила его. Их большая семья жила в Риге в тесной квартире. Дедушка и папа были единственными мужчинами, а пять сестёр постоянно галдели и ссорились

по всякому поводу. Папа был старшим. Сестёр своих он слегка презирал, посмеивался над ними и, в сущности, плохо их знал и ни к кому из них не был всерьёз привязан. Я опять смотрю на фотографию, и со старой пожелтевшей бумаги, чудом уцелевшей, они все смотрят на меня — все члены папиной семьи. Дед — нарядный, в костюме и галстуке. Рядом с ним — бабушка и папа, бабушкин любимец. В папином лице столько живости, такая готовность жить, и не верится, что именно долготы ему и не было отпущено судьбой. Вокруг этой группы расположились сёстры, молодые и тоже нарядные. Никто из них не знает ещё своей судьбы.

Дедушка умер в лагере в Германии. Говорят, что последние несколько суток он лежал на нарах, не в силах двинуться, изнурённый и предельно ослабевший от голода. До освобождения оставались считанные дни, но он его не дождался. Страшно представить себе, что он видел за прошедшие с начала войны годы. Старик, он мог уцелеть и пройти путь от Рижского гетто до Германии только потому, наверно, что был хорошим жестянщиком. Зачем-то немцам были нужны такие специалисты. Я плохо помню его, и мои воспоминания лишены чувственных впечатлений. Я всегда видела его только на расстоянии. Он, кажется, никогда меня не ласкал, не пытался приблизиться. Я не помню ни его рук, ни остроты его колена, на котором могла бы сидеть, но никогда не сидела. Я не могла бы сказать, чем от него пахло. Вряд ли он любил меня. Его сын с его стремлением уйти от своей среды и стать «буржуем» был ему чужд, и я, эта пухлая холёная девочка, его внучка, не вызывала в нём особых чувств. Правда, когда я родилась, он сам сделал для меня жестяную ванночку для купания.

Был дед молчуном. Сухое лицо, изрезанное морщинами, никогда не становилось весёлым. Смотрел он исподлобья. Своими чёрными, небольшими и глубоко посаженными глазами сверлил собеседника. Говорят, он не был добродушным человеком. Говорят, бабушке, весёлой, общительной, жизнерадостной, на которую я, по общему мнению, похожа, было с ним нелегко. О нём рассказывали, что, едва придя в гости, посидев полчаса, он решительно говорил бабушке: «Сонэ, кум

ахейм!», что значило «Соня, идём домой!». Бабушкино имя он произносил на собственный манер, поставив в конце твёрдое «э». В честь бабушки названа моя старшая дочь, но ничто в ней бабушку не напоминает и зовут её мягко и нежно «Софочка».

Девочки, как ни странно, росли в этой рабочей и очень небогатой семье избалованными и капризными. Дед особенно любил старшую дочь, Броху, глуховатую от рождения и не очень счастливую. Но особенно любил он Шуленьку, Брохину девочку, мою ровесницу. Она была его настоящей внучкой. Броха была замужем за смазливym и весёлым парнем по имени Мотке. Он, как считали в семье, был непутёвым, и после многочисленных скандалов они развелись. Но вскоре они снова сошлись и даже устроили настоящую хупу. Шуленька поддерживала длинную фату матери. Когда началась война, Броха снова ждала ребёнка. Бабушка, Броха, Шуленька и неродившийся ребёнок погибли в гетто.

После Брохи шла Гута. Ёе судьба характерна для небогатой части еврейской молодёжи в досоветской Латвии, которая, несмотря на сравнительно невысокий уровень образования, была очень активна политически. Это в большой степени объяснялось положением евреев в стране после Ульманисовского переворота в мае 1934 года, приведшего к установлению автократической диктатуры. Господин Карлис Ульманис провозгласил Латвию для латышей. Поскольку права меньшинств при этом не гарантировались Конституцией, то по отношению к ним в стране царил произвол. Эти нововведения особенно ущемляли евреев. Власти смотрели сквозь пальцы на всплеск антисемитизма. Евреи оказались фактически дискриминированными. Они практически не допускались к занятию должностей в местных органах управления и на государственной службе. Во всей Латвии было 25 евреев-чиновников, хотя 90 процентов евреев были грамотными людьми. Еврейские врачи практически не принимались на работу в государственные и христианские госпитали. Они работали или в еврейском госпитале (Бикер Хейлом) или имели частную практику. То же самое было и с юристами, которые работали только в частных фирмах. После переворота

можно было в публичной жизни употреблять только латышский язык, в остальных случаях требовалось разрешение министра внутренних дел или назначенного им инспектора. За нарушения грозил штраф в 1000 латов или арест на шесть месяцев. По закону о народном образовании от 12 июля 1934 г. школьники, принадлежавшие к нацменьшинствам, обязаны были ходить в свою национальную, либо в латышскую школу. Конечно, пострадали опять же еврейские дети, ходившие в немецкие и русские школы... Для поступления в Латвийский Университет существовала процентная норма. Ульманис запретил деятельность партий и политических организаций, и под запрет попали и еврейские организации отнюдь не политического характера, например, еврейское молодёжное общество Хисахдутх Бней Хоол, юридическое общество Латвийского университета, Талсинский еврейский народный клуб, сионистская организация школьной молодёжи Геховер и др. Формулировка для закрытия — наносит вред интересам государства и общества. Молодёжь видела два пути выхода из этого положения. Одна часть молодых людей была увлечена идеями сионизма. Эти девушки и юноши готовили себя к поездке в Палестину, где они собирались сначала бороться за независимое еврейское государство, а потом строить его. Они были объединены в молодёжной сионистской партии имени Иосифа Трумпельдорфа, организованной в Риге в 1923-м году. Другая часть молодёжи смотрела на Восток. Советский Союз с его громко звучащими лозунгами о свободе и равенстве представлялся им местом, где уже на деле осуществились человеческие мечты. Они активно работали в подпольных партийных и комсомольских организациях, искренне веря в правоту своего дела. Что ж, они были не первыми и не последними среди тех, кто обманулся большевистской пропагандой. Некоторые тайно бежали через границу в Советский Союз, где в большинстве своём были арестованы как шпионы и отосланы в сталинские лагеря, откуда мало кто вернулся. Те, кто оставались в Латвии и дождались «освобождения», особенно остро страдали после смерти Сталина, когда пришло отрезвление от большевистского блефа. Некоторые прозре-

вали уже во время войны, когда столкнулись с реальной советской действительностью. Из их рядов в послевоенной Риге формировались ряды самых циничных деятелей так называемой «подпольной экономики».

Тётя Гута и её сёстры были среди коммунистов. Вера в социализм, равно как и красивые голоса и любовь к пению, были отличительными особенностями этой семьи. Тётя Гута была среди них самой активной. Она была поймана с поличным, когда расклеивала листовки и получила по приговору суда четыре года каторжных работ. Как она рассказывала мне, их заставляли работать каждый день, и чаще всего они очищали куриц от перьев. Моя тётка, которая прошла фронт и потеряла на войне мужа, очень тяжело перенесла своё разочарование в коммунизме. Вопреки очевидному, вопреки изменившимся взглядам многих своих бывших соратников и друзей, она старалась держаться до последнего и всерьёз страдала.

Долгие годы, обманывая себя, она гордилась своими заслугами перед партией и званием персонального пенсионера. В центре города, на улице Кирова (теперь опять, как и до войны, эта улица называется Елизаветинская), был специальный магазин продажи продуктов персональным пенсионерам, закрытый для широкой публики и скрытый от её глаз. Снаружи никакой вывески не было, и никто не мог заподозрить существование магазина, но все о нём всё равно знали, несмотря на ухищрения властей. Так называемое «спецснабжение» было одной из льгот-подачек, которые «верные сыны и дочери партии» получали наряду с дешёвым проездом в транспорте, скидкой в квартплате, почти бесплатными дачами и путёвками в санатории и дома отдыха, правда, чаще всего в «несезонное» время. В «спецмагазине» пенсионерам раз в месяц выдавали определённый набор продуктов, «всесильный дефицит», куда чаще всего, с небольшими вариациями, входили палка сухой колбасы (салями), апельсины, гречневая крупа, венгерский суп-концентрат в пакетах с петрушкой, сухая смесь для кекса и многое другое, не менее интересное. Но венчал весь набор вожделенный растворимый кофе, который практически никто из пенсионеров не пил по состоянию здоровья. Кофе

служил обменной валютой и ценился очень высоко. Наравне с коньяком и шоколадными наборами, кофе открывал двери врачебных кабинетов, театральных касс, дорогих ателье и других магазинов, где был другой «дефицит» — мебель, одежда и... книги, предмет особого престижа. Пайки персонального пенсионера поднимали его авторитет среди родственников, приносили ему особое уважение. Персональный пенсионер в семье — это была роскошь. Это значило, что в доме будет вкусная еда в ярких упаковках. Так как персональные пенсии были разными, по степени заслуг перед родиной, то и пайки выдавались разные. Поэтому легко себе представить, сколько среди бывших борцов было склок, интриг и сплетен. Со всей «честностью и преданностью истинного партийца» они строили друг на друга доносы в высокие инстанции, называя их разоблачениями, подсказанными совестью. Моя тётка всё это болезненно переживала, но всегда защищала своих бывших соратников, находя им всяческие оправдания — возраст, склероз, плохих детей. Когда отрицать правду было уже глупо и бессмысленно, а смотреть ей в глаза не было сил, её жизнь стала ещё тяжелее. Она сидела в тюрьме, была на фронте, потеряла мужа и осталась одинокой, без детей, но, наверно, по-настоящему несчастной почувствовала себя в первые годы начавшейся эмиграции в Израиль, когда уезжали вчерашние друзья и товарищи по подполью.

Переломана войной была судьба и другой сестры, Леи. У неё было сильное и красивое сопрано, и ей пророчили большую карьеру концертной певицы. Я помню её с её мужем Бениоменом в форме латышского солдата-срочника. Красивая пара, светлое будущее... Бог знает, на каком из фронтов войны сложил голову Бениомен. А я, глядя на мою тётку, с годами ставшую похожей на сытую жабу, ворчливую и мелочную, любившую повторять, как я на неё похожа, бежала к зеркалу, боясь увидеть тёткины черты в своём лице.

Самая младшая, «ди мезинке» (идиш), была неказистая, лицом вылитый дед. «На всех красоты не хватило», — шутили в семье. Когда ей было шестнадцать, её тоже арестовали, долго били по голове в полицейском участке. Было ли это так или

бабушка придумала эту историю, жалея её и оправдывая её дурость, никто уж теперь не скажет. Она каким-то чудом оказалась совершенно одна в эвакуации и, чтобы не погибнуть с голоду, поступила учиться в ФЗУ. Как и многие, она стала через разные инстанции разыскивать родственников, а когда отыскала папу, то отправила ему на фронт письмо, в котором писала, что ей стыдно, что других людей убивают, а он всё ещё жив. Такое же письмо она прислала и нам в эвакуацию, чего мама не смогла ей никогда простить. Мы никогда не переставали удивляться после войны, как в безалаберной бюрократической советской машине эта служба поиска родных даже в самые страшные годы работала вполне исправно.

После войны папа подобрал свою несчастную, голодную, совсем одичавшую сестру и предложил ей приходить к нам каждый день обедать. Она пришла, и в первый же день швырнула на пол тарелку с супом, крича, что ей не нужны буржуйские объедки. Шёл 1945 год. Мы были нищими, вернувшись после освобождения города к разорённым местам. Нашим единственным богатством было то, что папа остался жив. Такая она была моя тётка, которую звали Ета. Она много пила, курила, много болела, где-то работала. Однажды меня пригласили малознакомые люди в первый раз к себе домой. Когда я вошла, ко мне навстречу с радостным криком бросилась их домработница — моя тётка Ета. После обеда гости попросили её петь. Она согласилась и пела легко и красиво. Жизнь её кончилась, когда она выбросилась из окна шестого этажа.

На истёртой семейной фотографии они все в преддверии этих испытаний. О чём думал мой дед, лёжа на заплёванных нарах барака? О бабушке, Брохе и её детях? Об их гибели? Он, который жил рядом со смертью более четырёх лет, знал, что она была страшной. Папа долго надеялся, что дед жив. Возвращающиеся в один голос утверждали, что видели его то там, то тут, но сведения были очень противоречивыми. Постепенно надежды угасли, и мой дед, по которому никому в семье не дали имени, ушёл в небытие. Его звали Давид. Мой рассказ о нём — его надгробие, последняя и единственная память.



Мой папа всеми силами стремился вырваться из своей среды. Ему не нравилась судьба честного и бедного труженика, каким он мог стать, а учиться не было возможности без какой-то опоры. Надо сказать, что при всём уме и обаянии, у моего любимого папы не было сильной воли, и, хотя он мечтал стать врачом, не был готов стать на этот тернистый путь нищего студента. Он тянулся к жизни, в которой были красота и комфорт, как он их понимал. И так получилось, что вскоре после возвращения из Бразилии он познакомился с моей хорошенькой мамой, на которой и женился очень быстро. Мама была не только привлекательной внешне, но и, по понятиям её круга, неплохо образованной. Она окончила интересную школу — еврейскую гимназию с русским языком преподавания. Оказывается, были и такие в 20-е и 30-е годы в Риге. И хотя моя мама никакого особого рвения к наукам не проявляла, она любила читать и неплохо играла на пианино. Но, видимо, в этой гимназии учили неплохо, потому что когда мы, незнающие языка, приехали в Америку и смотрели телевизор, то именно моя, старенькая уже тогда мама, понимала, о чём говорят, и любопытным отвечала, что учила английский в школе.

На деньги маминого приданого папа открыл вместе с дядей, маминым братом, тот самый магазин готового платья, следы которого так надолго остались на стене дома. Женильба сразу перенесла папу на другую социальную ступень и сделала уважаемым буржуа, чем он, сибарит и эпикуреец, невероятно наслаждался. Могло показаться, что это был брак по расчёту, но на самом деле оказалось, что мои родители прожили душа в душу, как голубки, всю жизнь, нежно любя и оберегая друг друга. Именно их отношения создали у меня глупую иллюзию, что все женатые пары заведомо счастливы. Понадобился мой собственный непростой опыт, чтобы от этой иллюзии избавиться. Но, как это ни странно, моя практичная и очень земная мама от этого представления избавиться так и не смогла. Когда ей рассказывали о чьих-то семейных неурядицах, о семейной паре, которая на грани развода или живёт в постоянной вражде, она, уже в солидном возрасте и имея

внуков, с неподдельным недоумением восклицала: «Как же так! Я их на днях видела, они шли, держась за руки!».

Мама была из состоятельной семьи. Её отец, этот мой дедушка, по совпадению, был когда-то тоже бедным жестянщиком и к «состоятельности» семьи прямого отношения не имел. Это произошло как-то без него, усилиями бабушки. Она умерла старой, за девяносто лет, но я помню её, когда она ещё кипела молодой энергией. Была она человеком, как я понимаю, железной воли, незаурядных способностей и такого же незаурядного эгоизма. Одно из самых сильных впечатлений, лучше всего характеризующих бабушку, было связано с одним послевоенным моментом. Мы тогда только что вернулись из эвакуации. Война ещё не кончилась, и, жизнь ещё только налаживалась. Все раны были свежими и болели. Бабушка не нашла в живых ни своего сына, которого, по словам всех, очень любила, ни его семьи. Сама она, потерявшая всё, чем владела, привыкшая быть всегда независимой и приказывать, оказалась теперь полностью зависимой от детей. Казалось бы, она должна была пригнуться и сникнуть. Тем удивительнее была сцена, которую я однажды застала. Бабушка стояла перед зеркалом, примеряя шляпу. Бог знает, откуда взялась эта шляпа, но надо было видеть бабушкино лицо и то, как она эту шляпу прилаживала к себе. Стоя за ней, я могла наблюдать за её отражением в зеркале. Она была полностью поглощена тем, насколько шляпа ей к лицу и достаточно ли хорошо она при этом выглядит. Ничто другое не интересовало её в этот момент.

Эта бабушкина способность всегда и прежде всего думать о себе была поразительной. Она определяла все её поступки и отношения с людьми, чужими и своими. Детей своих она вымуштровала так, что и взрослыми они не решались ей открыто возражать. Под её железной пятой был и дедушка. Под её влиянием он занялся коммерцией, но революция помешала ему по-настоящему развернуться. Они с бабушкой убежали от большевиков из Москвы в Ригу, но и тут дела шли неважно, и дедушка, как это делали и до него, и после, поехал искать счастья в чужих странах. Видимо и на это была бабушкина воля. Он предполагал поехать в Палестину и в Буэнос-Айрес,

но до Южной Америки так и не доехал. Где именно у него украли всё ценное, что бабушка дала ему с собой, аккуратно уложенное в заветный ящичек, я уже не помню. В Палестине он видел много страшного. Дома не раз повторялся его рассказ о раввине, которого арабы сожгли на медленном огне, начав с бороды. Письма домой он писал печальные и безнадежные. Бабушка же в это время одна с тремя детьми на руках делала всё, чтобы выжить. Дело было после Первой Мировой войны. Кругом были бедность и разруха, но люди хотели жить, одеваться. Бабушка стала скупать, где придётся, старое солдатское и офицерское обмундирование, по ночам стирала его, гладила и перешивала в дефицитную цивильную одежду, а днём выносила её на рынок продавать и стояла там в жару и в холод. Постепенно дела её пошли так хорошо, что она смогла уже нанять себе помощников и открыть там же на рынке маленькую лавчонку готового платья. И тогда она велела дедушке вернуться. Он приехал, испуганный, несчастный, и с тех пор, наверно, у бабушки появилось это сложное отношение к нему. Она его, видимо, никогда особенно не любила и даже слегка презирала за мягкость и скромность, которые принимала за слабость. Но зато его всегда к кому-то ревновала, кажется даже, не без оснований. После его возвращения все эти чувства как-то оформились и открыто проявлялись.

Этот дедушка был «мой», «настоящий» дедушка. Ниточки нашей душевной связи не порвались ещё сегодня, хотя дедушка лежит в земле с весны сорок первого года. После войны мы не нашли его могилы на еврейском кладбище «Шмерли» в Риге. Когда я вспоминаю его, я вижу опять его улыбку и глаза, в которых столько любви ко мне. Они уводят меня назад, в моё детство, в мир далёких и забытых ощущений, в мир, где всё вокруг по-иному распределено, а я его центр, желанный и дорогой.

Вот мы идём по улице вместе, дедушка и я. Он крепко держит меня за руку, и рука у него тёплая и сухая. На нём чёрное дорогое пальто и элегантная шляпа. Мой дедушка — франт и модник. Мы идём с ним по улице, и нам хорошо и весело, потому что мы вместе. Я читаю вывески. Мне всего пять лет,

но я читаю легко и быстро, а дедушка страшно гордится мной и победоносно оглядывает прохожих. Они тоже смотрят на нас, не знаю почему. Он ещё очень любил кормить меня грейпфрутами. Мы садились за круглый стол в столовой. Дедушка — в коричневой домашней куртке с «гусарскими» застёжками из шёлкового шнура. Я — на стуле рядом, и начиналось священнодействие. Оранжевый грейпфрут дедушка держал бережно обеими руками. Медленно клал его на блюдце. Серебряным ножичком для фруктов разрезал поперёк. Каждая половинка теперь нежно сияла розово-жёлтой мякотью. Дедушка посыпал их сахаром, осторожно мял, пока не появлялся тягучий сиропообразный сок, и тогда мы принимались за это лакомство. Много-много лет мне казалось, что в мире нет более вкусного и более желанного фрукта, чем грейпфрут, и что только я знаю секрет, как его есть.

На диване в той же столовой мы читали и разговаривали. Диван стоял у стены, противоположной окну, и буфет закрывал одну его сторону своим пузатым боком. Я любила этот полутёмный уголок. Потом, когда дедушка заболел, он всё старался примоститься там, чтобы не видно было, как он плохо выглядит. У дедушки оказался рак поджелудочной железы. Когда его увозили на операцию, со мной случилась первая в жизни истерика. Вернувшись, он стал ещё тише, и с каждым днём становился вся меньше и меньше. Только его живот, наполнявшийся жидкостью, всё раздувался, мучая его, не давая дышать. Приходила сестра и большой иглой её отцеживала. Но всего этого я совсем не боялась, и всё равно хотела быть к дедушке как можно ближе. Он очень страдал, стеснялся своей немощи и был в те тяжёлые дни особенно тихим. Я любила и жалела его. Когда потом, в школе, нас учили, что жалость — недостойное чувство, что оно унижает человека, я не могла в это поверить. Мне всегда казалось, что это одно из самых человеческих чувств. Как много могут дать сострадание и жалость, я поняла ещё в те дни, когда смотрела в глаза своего умирающего дедушки.

Помню день, когда он позвал всех простаться. Чувствую и сейчас его лёгонькую, горячую руку, глядящую меня по волосам. Когда он умер, со мной опять было плохо. Взрос-

лые не взяли меня на его похороны. Как будто можно огра- дить душу человека, даже ребёнка, от потерь и горя. Прошло несколько дней. Я играла во дворе. Мы бегали, было очень жарко. И вдруг я увидела, что дверь подъезда, где жили в том же доме с нами бабушка и дедушка, открылась, и дедушка появился на пороге. Он стоял, не двигаясь и улыбаясь, держа за руку мою двоюродную сестричку Шуламеньку, дочку моего дяди Кубы. Я тоже остановилась, совершенно оцепенев. Потом дедушка поманил меня пальцем. Он сделал это несколько раз. Я рванулась к нему, но в ту же секунду остановилась. Не знаю, что удерживало меня. Ещё через мгновение всё исчезло. А че- рез несколько месяцев началась война. Шуленька вместе со своими родителями погибла в гетто.

Что было бы со мной, если бы я побежала к дедушке? Зачем он звал меня? Может быть, это было предостережение, осо- бый знак, который он мне подавал. Я не погибла, выросла, прожила большую часть своей жизни. Чем я заслужила это? Ведь те, кто лежат на дне огромных чёрных ям, мои двоюрод- ные сестрички, Шуленька и Шуламенька, были не хуже меня и имели то же право на жизнь. С годами, думая о той послед- ней встрече с дедушкой, я всё больше верю, что он охранил меня тогда и, наверно, хранит и по сей день.

Думаю я иногда и о том, что стало бы со мной, если бы не война, если бы я выросла в той жизни и в той среде, как сло- жилась бы моя жизнь? Иногда я вижу себя среди тех, кто стро- ил Израиль. Иногда среди студентов Сорбонны. Но всегда это какое-то дело, профессия, карьера. От этого не уйти. Но это от- ступление, а жизнь до войны шла своим, приятным чередом.

\* \* \*

В моём раннем детстве у меня была няня, большая, грузная русская красавица, которая называла мою маму «барыня». Она жила у нас сравнительно недолго. Дома, в деревне, у неё была большая родня, которая постоянно требовала, чтобы она воз- вращалась, и грозила в случае неповиновения всякими непри- ятностями. Няне ехать не хотелось. Ей нравилось у нас. Она

любила жизнь большого города и меня. Придя с прогулки, она долго рассказывала маме, какая я красавица и как все на улице на меня оглядывались. Но, в конце концов родственники всё же доконали няню, и ей пришлось возвратиться домой. Прощаясь с нами, она сильно плакала. От неё у меня осталась любовь к гречневой каше, которую она варила удивительно вкусно. Бывало, рано утром, когда все ещё спали, я приходила к ней в её маленькую комнатку за кухней, которая называлась почему-то в нашем обиходе не комнатой для прислуги, что было бы понятно, а «девичьей». Мы шли на кухню, и няня кормила меня. Каша у неё была очень крутая, она нарезала её толстыми ломтями и наливала мне в кружку молока.

Вскоре после того, как няня от нас уехала, я с другими девочками нашего дома, Мирой, Фрумой и Рутой, стала ходить в детский сад к мадам Шнеур, женщине с тонким и интеллигентным лицом и добрым нравом. Интересное начиналось уже по дороге в садик. Надо было пройти по улице мимо православной церкви, небольшой, но какой-то уютной. Сама церковь стояла за оградой, где рядом с воротами в небольшом застеклённом строении стояла необыкновенно красивая икона Божьей Матери. Мне нравилось остановиться перед ней на несколько минут и любоваться на нежные лица матери и младенца, окружённые золотым ореолом. В садике нам было интересно и весело. Нас, всех, кроме Миры, забирали домой мамы, а её забирала няня Марта. В отличие от моей няни, Мирина Марта жила с ними всегда. Сначала она вырастила Селю, Мирину сестру, которая была старше на десять лет, а потом растила Миру, в большой степени заменяя родителей, которым было не до детей. Папа её был художником. Помню его пышную шевелюру и горделиво поднятую голову в шляпе с необычно большими полями. Его все звали не по фамилии Иоффе, а по псевдониму — Михаил Ио. Его картины кем-то ценились и где-то продавались. Такова была, по крайней мере, молва. У него было белое, как напудренное, бабье лицо. Большое и белое лицо было и у его жены, Мириной матери. Внешне похожие друг на друга, супруги жили не очень счастливо, и мы, дети, почему-то знали об этом. Мирина мама

была зубным врачом и, как тогда говорили, имела свой кабинет. Я так подробно рассказываю об этих людях, потому что их история Марты и Миры, которые так любили друг друга, оказалась трагичной. Когда началась война и родители решили эвакуироваться, Марта уговорила их не брать девочку с собой в неизвестную жизнь. Они легко согласились, потому что доверяли няне, как себе. Когда немцы вошли в Ригу, Марта уехала с Мирой в свою деревню, где все, естественно, знали, что она служила у евреев. Очень скоро к ней нагрянули местные айсарги (это были члены военизированной националистической организации, помогавшей полиции и армии, активно помогавшие в истреблении евреев в годы войны), жители этих мест, и потребовали еврейского ребёнка. Марта не спорила, не сопротивлялась. Она дошла с ними до ближайшего лесочка, поцеловала Миру и велела ей идти с «дядями» дальше. И девочка пошла. Через несколько минут Марта услышала выстрел. Всё было кончено. Когда родители вернулись в Ригу, Марта рассказа им всё это, не утаив подробностей и не пытаясь оправдаться. Отец, Михаил Ио, уехал в Москву, где какое-то время работал в еврейском театре у Михоэлса, а мать повредилась в уме и прожила недолго. Я встречала её иногда на улице и пыталась поздороваться, но она никогда мне не отвечала, а только смотрела на меня долгим и тяжёлым взглядом, от которого мурашки бежали по коже. Я даже не уверена, что она меня узнавала. За годы войны она стала ещё крупнее и ещё гуще пудрила лицо, на белой маске которого выделялись очень ярко накрашенные губы. Когда же у старшей сестры Сели родился ребёнок, они пригласили Марту в няни.

Мира была мне ближе других девочек. Она была тоже большая, как и её родители, но весёлая и открытая в отличие от них. С ней было намного интересней, чем с вечно кислой Фрумой. Мне было хорошо с ней дружить, играть во дворе вместе, ходить к ней домой или приглашать её к себе. С Мирой мы не ссорились. Я даже помню, как я рассказала ей об истории с «Мишкой». «Мишка» был моей любимой игрушкой. Он был сделан из какой-то мягкой коричневой ткани и весь был такой близкий и родной, как живой человек. Я его вечно таскала за

собой, и постепенно он начал стареть и разваливаться, из него начала лезть труха. Я очень огорчилась и жалела его и себя. Однажды мама с папой во время гулянья подвели меня к огромной витрине главного универмага в центре города и сказали, что я могу выбрать себе любого мишку, который мне понравится. Я начала так плакать, что больше мои родители к этой теме никогда не возвращались, но мой Мишка всё продолжал хиреть. Вот об этом я и рассказала Мире, и она меня понимала. О «Мишке» я долго тосковала в эвакуации и не могла простить себе, что в суматохе забыла о нём, оставила. Следующий «Мишка» появился в нашем доме только после рождения моей дочери.

\* \* \*

Папы не бывало дома целую неделю. Когда он возвращался в пятницу к вечеру из своих поездок, в доме воцарялась праздничная обстановка. Дни, которые он проводил дома, состояли из ритуалов. Их, как я подозреваю, ввела мама. Она всегда обожала порядок и строгий распорядок. Видимо, сам факт повторяемости событий, их регулярность давали ей — и это свойственно многим людям — ощущение стабильности и уверенности в жизни, а она свою жизнь с папой любила и гордилась тем, как она её замечательно построила. Удивительно другое. Когда вся эта налаженная жизнь рухнула во время войны, это не заставило мою маму изменить свои представления. Она с ещё большим рвением продолжала поклоняться порядку и распорядку, своим неизменным богам, не желая замечать, что держится за пустую форму. Папа любил развлекаться. От этого он не отказывался и по выходным дням. Суббота была днём его неизменных еженедельных встреч с друзьями. Они ходили вместе в баню, а потом играли в карты в игру, которая называлась «кункен» и известна в Америке как джин.

Кригеровская баня в центре Риги, куда они ходили по субботам, была не только местом для мытья. Она была своеобразным клубом, где люди определённых кругов встречались и болтали, крепко парились и основательно ели и выпивали.

Это были сугубо мужские радости жизни. Что делалось тогда на женской половине бани и существовала ли она вообще, я не знаю. Построенная с большой роскошью, Кригеровская баня претендовала на сходство с банями Древнего Рима, по крайней мере, с теми, которые я видела на картинках. Когда после войны она превратилась на какое-то время в общедоступное место, и мы с мамой туда ходили, я получала большое удовольствие от вида мраморных лестниц и бассейна, от разнообразия всех видов мытья. Простая процедура легко превращалась в игру. Можно было мыться в тазике или под душем; можно было париться, как все, с веником на горячей полке, но можно было забраться в деревянный ящик, из которого торчала в прохладе только голова, а тело обжигал сухой пар, а потом отправиться в отдельную кабинку, где каждому подавались чистые простыни и при желании можно было выпить лимонад. Но главное, что и в послевоенном дефиците и бедности, у Кригера не было очередей, что достигалось за небольшую дополнительную плату. По сравнению с обычными банями, это был просто рай. Папа был завсегдатаем у Кригера и до, и после войны. Когда баню, в конце концов, закрыли для публики, предоставив её комфорт номенклатуре, папа очень тосковал по своему «клубу» и ещё более честил советскую власть.

Воскресенье было семейным днём, и мы проводили его втроём — папа, мама и я. В моей памяти эти дни живут в разнообразных, никак не связанных между собой кусках. Утро обычно начиналось с того, что я приходила к родителям в спальню, садилась на их большую и мягкую кровать, и мы подолгу болтали обо всём. Папа тогда был ещё не рассеянный, и разговаривать со мной ему было интересно. Перед самой войной он стал водить меня по воскресеньям в кино. Позже, в эвакуации я особенно часто вспоминала два фильма — один с Микки-Маусом и другой — с Ширли Темпл. Из первого всегда возникал один и тот же кадр, наверно потому, что я была вечно голодна. Это была сцена, где Микки-Маус стоит под деревом, на котором висят всевозможные вкусные вещи — булки, кренделя и конфеты. История с Ширли Темпл была некой вариацией Золушки, где бедная девочка вынуждена была незаслу-

женно страдать. Она была одета в очень живописные лохмотья и почему-то всё время дрожала от холода, но чудо помогло правде восторжествовать, и героиня была осыпана всеми возможными милостями. Особенно поразила моё воображение синяя бархатная шубка, отороченная белым мехом, над которым эффектно возвышалась золотоволосая головка маленькой Ширли. Эта синяя бархатная шубка на многие годы оставалась для меня идеалом красивой одежды. Совсем недавно, нажимая бездумно на кнопки «remote-контроля», я случайно наткнулась на этот старый сентиментальный и неприхотливый фильм, и уже не могла оторваться от него до конца. Один из серьёзных фильмов, который я видела до войны с папой, был польско-еврейский фильм на сюжет известной песни «Beltz, my shtettale Beltz...» — «Белз, мой городок Белз...». И песня, и фильм говорили об одном и том же — о грусти взрослого и преуспевающего в жизни человека по своему детству и его простым радостям в бедном еврейском местечке. Но если фильм был довольно ординарным и просто сентиментальным, то песня — одна из самых красивых и искренних среди тех, которые я слышала. Это песня — воспоминание, песня — тоска по невозвратности, необратимости времени и жизни. Папа любил её петь, и делал это так душевно, с таким искренним теплом и болью, что после его смерти мне не хочется слушать эту песню в чьём-то другом исполнении.

Одним из ритуалов наших воскресений был поход в кафе к *five o'clock tea*, пятичасовому традиционному чаю. В городе было несколько таких кафе. Лучшими считались «Шварц» и «Рококо». Мои родители предпочитали последнее. Наверно, время, проведённое там, на всю жизнь сделало из меня самого преданного любителя кафе. Там меня научили, что кафе — это не только место, где можно выпить кофе и съесть пирожное. Кафе навсегда стало для меня местом, где можно было подолгу сидеть с друзьями и вести бесконечные разговоры за одной чашкой кофе. Кафе моих родителей было, конечно, совсем другим, чопорным по духу, но в иные времена и при иных обстоятельствах оно тоже было прежде всего местом общения. Нарядные дамы и господа чинно сидели здесь часами и вели

негромкие разговоры. Воскресный выход в кафе был запланированным развлечением после недельной рутины, возможностью показать себя и посмотреть других, узнать новости и сплетни. Я любила мягкий свет в помещении, где преобладали кремовые и шоколадно-коричневые тона; тихий перезвон посуды и особенный запах сдобы и кофе. И это приглушённое освещение, и эти запахи и вся атмосфера покоя и уюта дольше всего сохранялись при Советах в Таллине. Поездки туда стали частью нашего взрослого искусственно построенного, иллюзорного мира, по которому томились и тосковали, стараясь изо всех сил удержать и сохранить его частицы.

Воскресные вечера мои родители чаще всего проводили дома. Мама садилась за пианино, а папа пел. Мне сегодня трудно поверить, что так было на самом деле. Это, наверно потому, что послевоенная жизнь была совершенно другая, и родители мои превратились в совсем других людей. Я не знаю, какими они стали бы с годами, не будь войны, но я видела, что сделали с ними война и советизация. Но тогда, в эти мирные вечера, я любила сидеть на мягком стуле из столового гарнитура и смотреть на них и слушать музыку и папин небольшой, но красивый голос. Он обычно стоял за маминой спиной, слегка наклонившись над ней, а за ним оранжеватый свет низко висевшей над столом лампы высвечивал нашу красиво убранную столовую, где удобные кресла как бы стремились укрыться по углам и матово поблёскивало пианино с пристроившейся на его краю застывшей мейсенской балериной. Она была довольно большая, с высоко поднятой головой на длинной шее, кажущаяся от этого ещё выше. Краски фарфора были нежными и тонкими. Но особенно хороши были юбочки. Их было бесконечно много, и было трудно поверить, что их многослойная тюлевая роскошь ненастоящая.

Тогда, в этом розовом детстве, я тоже любила петь. Особое удовольствие я получала, когда пела перед сном, громко и с упоением. От усталости, наслаждения и перевозбуждения я, наконец, засыпала и сквозь сон слышала, как папа и мама говорили друг другу: «Уснула!». Я помню, как при этом звучали их голоса — было в них что-то от голубиного воркования,

гортанное и мягкое в то же время. Теперь я знаю, что это были голоса родительской нежности и любви.

Я старалась в своём пении во всём подражать папе. Его чистый тенор, его умение долго держать ноту казались мне необыкновенно красивыми. Я пыталась делать то же самое и чаще всего оставалась очень довольна собой. Если что-то и казалось мне несовершенным, то я компенсировала эти пробелы силой чувства. Я пела, что называется с «душой». Только значительно позже я поняла, что делала я то, что присуще всем, у кого нет ни голоса, ни слуха.

Страсть к пению довольно скоро прошла без рецидивов, если не считать ещё одного вокального взрыва в моей жизни, но это было уже значительно позже, в 60-е годы, когда мы стали слушать и петь нашего любимого барда Булата Окуджаву, и это совсем другая история.

Хоть петь я и перестала, но песни, их слова и музыка, продолжали и продолжают жить внутри. Можно ведь петь по-разному. Можно и вслух, а можно и «про себя». И когда песни поются «про себя», то проплывают видения, как бы написанные акварелью. Чуть-чуть неясные, нежные и безвозвратные. Наверно, это мы их зовём воспоминаниями.

\* \* \*

Часто в этих воспоминаниях появляется наша довоенная квартира, просторная, удобная квартира средних буржуа, где на всём печать маминой любви к своему дому и её понимание уюта... Всплывает вдруг угол коридора, через дверной проём освещённый солнцем из кухонного окна, и тёмно-серая глубина помещения, посеребрённая солнечным лучом, существует только вместе с перезвоном, доносящимся из кухни. Там мама гремит чем-то, нет, не кастрюлями, а нежно так, наверно, фарфоровыми чашками. И из ванной доносится: «Вдоль по улице метелица метёт. За-а-а метелицей мой миленький идёт. Ты постой, посто-о-о-й, красавица моя! Дай мне наглядеться, радость, на тебя!». Это поёт папа. «За-аа-аа» он произносит, как-то по-особому красиво заикаясь. Звук как бы прерывает

слог, но в то же время сохраняет главное течение целого. Всё предложение подрагивает, как шаги по мостовой, когда ноги ступают с камня на камень, а камни все разные, неровные. И вдруг — голос вздымается, взлетает ввысь. В нём — простор, сила, повеление. И неожиданно — падение чуть ли не до шёпота и мольба, как о великой милости, как о возможном счастье — «дай мне наглядеться, радость, на тебя!». Дальше уже всё проще, ускоряется темп, меняется интонация, перечисляются все прелести желанной — «на твою ли на прелестну красоту, на-а-аа твоё ли как на белое лицо...». А сердце моё в это время ходит ходуном, взлетает вверх, замирает, сжимается. Слезы готовы появиться на глазах и перехватывает дыхание. Мне становилось по-настоящему больно, когда папа пел другую песню, в которой были такие слова: «Скажите, как это обидно, ты будешь два сердца носить, а я, так безумно влюблённый, без сердца совсем буду жить». Я долго воспринимала эти слова буквально и не могла поверить в такую жестокость...

Вспоминая нашу квартиру, я как бы опять рассматриваю переливы линий и пятен на поверхности изящного орехового гарнитура в бежевой прихожей. Слово «ореховый», как и тогда, в детстве, так и сейчас вызывает у меня во рту вкус ореха. Все комнаты были покрашены в разные цвета. Моя была голубая. Повсюду удобная мебель, тёмная и мягкая. В книжном шкафу много книг. Это — от папы. Он выписывал всё, что можно было из Советского Союза. Сибарит и эпикуреец, с удовольствием вырвавшийся из своей рабочей среды и ставший уважаемым буржуа, он в то же время свято верил, что есть страна СССР, где установлено равенство и братство. Эти противоречия органически уживались в папином характере. Книги он приносил домой чуть ли не каждый день, новые, вкусно пахнущие, нарядные. Я тогда видела впервые журнал «Красная новь», томики Корнея Чуковского, Самуила Маршак, Маяковского.

Я любила рассматривать голубые васильки и ярко-алые маки на шёлковой светлой скатерти круглого стола, которые потом повторялись на абажуре и на занавесках. Эти тонкие вышивки гладью, сделанные с большим мастерством, были

особым предметом маминой гордости. Все они были сделаны по специальному заказу у большой умелицы мадам Ошрин. Я помню её подтянутую фигуру, строгое некрасивое лицо и очень аккуратную причёску. Когда я узнала её, она уже была совершенно седая, и поэтому, когда я увидела её во время войны, голодную и несчастную, то впечатление старости связывалось не с её сединой, а с согнутостью фигуры. Глядя на её мастерские вышивки, я в моих детских мечтах о муже и красивом доме представляла себе, как повторю эти голубые и алые цветы на желтоватом фоне тонкого, шероховатого шёлка. Мама и мадам Ошрин называли этот цвет «кремовым». Слова «кремовый» и «бордовый» так и не вошли в мой словарь. Мы ходили к мадам Ошрин в мастерскую, и мама подолгу разглядывала альбомы с узорами вышивок. Мастерская была маленькая, узкая и темноватая, и казалось странным, что те прекрасные вещи, которые мадам приносила к нам домой в больших коробках, создавались здесь. Ещё мы с мамой ходили к мадам Палей. Её я совсем не помню, но знаю, что мадам Палей была фирмой, именем. Она делала шляпы и шила для детей. С фотографии смотрит на меня исподлобья толстоватая и сумрачная девочка в замысловатой остроконечной шляпе, из-под которой на пальто выложены аккуратно, как по линейке, две тоненькие косички. Это я, во что не могу поверить, потому что девочка мне совсем не нравится, и у меня нет с ней ничего общего. Но я хорошо помню, что эта шляпа была розовой, сочетаясь с черно-розовой клеточкой пальто и что обе вещи были от мадам Палей, и верю маме, когда она говорит, что одевала меня, как куклу.

Ходили мы и к маминой портнихе. Её не называли «мадам». Она была просто «Бандиха» и была сестрой нашей соседки по этажу «Кравечихи», с дочкой которой, Фрумой, мы дружили. «Бандихин» силуэт, плавно движущийся по комнате, приседающий на корточки перед зеркалом, отмеряя длину юбки, и общее ощущение приятности, соединяются в моей памяти с запахом новой, ещё не ношенной ткани и чувством праздничности, потому что новые платья шились не чаще двух раз в год — посезонно, осенью и весной. «Бандиха» умерла очень

молодой в эвакуации от тифа, когда её девочке Тайбе было всего три года. Когда Тайба, которая теперь живёт в Чикаго и которую я хорошо знаю, спрашивает, что я помню о её матери, то мне, к стыду моему, нечего сказать.

Я не помню, чтобы до войны справлялся мой день рождения. По крайней мере, в моей памяти ничего не осталось, кроме одного эпизода в тот год, когда мне исполнилось пять. К вечеру пришёл дядя Куба, почему-то без своей жены, красавицы тёти Иды, и без Шуламеньки, моей сестрички. Я огорчилась, не увидя её, потому что любила с ней играть, несмотря на разницу в четыре года. Она была весёлая и кокетливая девочка. Нашим любимым занятием было примерять взрослые платья и шляпы. Особенно интересно было делать это у бабушки в доме, потому что она позволяла нам намного больше, чем наши мамы. Шуламенька была от природы грациозная и женственная. Мне никогда не удавалось так ловко и изящно, как настоящая дама, приспособить шляпку на голове, как это делала она. Её блестящие чёрные глаза на подвижном личике и её маленькая фигурка трёхлетней кокетки, вертящейся перед бабушкиным трюмо, как живые, передо мной. Но в этот вечер дядя был один и сразу подошёл ко мне. Он поздравил меня, поцеловал и достал из кармана маленькую бархатистую коробочку. Потом он опустил передо мной на одно колено, взял мою руку и, достав его из коробочки, надел мне на палец золотое колечко. Колечко было тоненькое и нежное с крохотным красным камешком, не то гранатом, не то рубином. Вдруг я оказалась выше дяди, и мне были хорошо видны и его поднятое улыбающееся лицо, и ласковый взгляд снизу вверх его чуть прищуренных глаз, и отблески света, играющие на его серо-стальном костюме и гладких чёрных волосах. С той минуты, как дядя надел мне колечко на палец, я снимала его два раза — один, когда оно стало мало, и папа отнёс его увеличить, и второй, о котором надо рассказать отдельно, потому что это связано с одним из самых тяжёлых моих переживаний.

Но что бы ни виделось мне из той жизни, навсегда уплывшей в небытие, над всем этим, как мягкий шёлковый колпак, витает обволакивающее ощущение уюта, тепла и надёжности.

Этот уютный и тёплый мир был унесён сначала вторжением советских войск, а потом войной.

\* \* \*

Родители ждали расправы за своё «буржуйство». С точки зрения властей мы были самыми настоящими буржуями. Стоит и сейчас посмотреть на довоенные фотографии, чтобы в это поверить. Холёные, одетые с иголки, с безмятежным выражением лица, мы смотрим в объектив фотокамеры, являя собой образец того «буржуина», которого Советская власть так ненавидела и стремилась истребить. Нас ждало то же, что и всех других — знакомых и родственников, таких же, как и мои родители, людей, которые жили по законам капиталистического мира. Вина их была только в том, что они тяжело работали, создавали свой бизнес и стремились к успеху. Но всё то, что было нормальным во всём мире, превратилось Советами в личное преступление, за которое каждый должен был платить своей судьбой. В разговорах всё чаще слышались слова «комиссар», «национализация» и «сволочи». Особенно расстраивало папу поведение комиссара — национализатора нашей собственности. Как будто сошедший с советского плаката, в кожаной тужурке, которая со времён Гражданской войны стала большевистской униформой, он являлся каждый день и проводил тщательную инспекцию в магазине, готовя его к передаче государству. Он откровенно упивался своей властью и тем чувством скованности, которое возникало у людей в его присутствии. Разговаривал он хозяйским и хамским тоном и отличался полным безразличием к делу. Комиссар приходил то один, то с помощниками, и все они, вместе или по очереди нагнетали обстановку так, что папа и дядя Куба не знали, чего ждать после завершения всех формальностей — бесправия и бедности или ареста. И то, и другое теперь уже казалось вполне реальным. Время тянулось очень медленно в этом томительном ожидании, и каждый день приближал нас всё ближе к войне.

Проснувшись однажды утром, я сразу же собралась во двор играть с детьми, но мама, отводя глаза, сказала, что там нет



**Муся Гланц (Musya Glants)** — филолог и историк искусства. Она родилась в Риге, где окончила филологический факультет Латвийского университета, а затем искусствоведческий факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Ленинград); получила степень кандидата философских наук (эстетика) в Ленинградском государственном университете. Жила в Сибири в г. Новокузнецке, где была

старшим научным сотрудником Художественного музея, затем доцентом Сибирского металлургического института.

В 1982 г. эмигрировала в США, живет в Бостоне. С 80-х годов — научный сотрудник Davis Center for Russian and Eurasian Studies при Гарвардском университете. Преподавала историю русского и еврейского искусства XIX – XX столетий в Гарвардском и Тафтском университетах и читала лекции в различных аудиториях. Основная тема ее исследований — творчество еврейских художников в России.

М. Гланц — автор монографии о русско-еврейском скульпторе Марке Антокольском — *Where is My Home. The Art and Life of the Russian-Jewish sculptor Mark Antokolsky, 1843–1902, 2010*; соавтор книг: *Food in Russian History and Culture* (with J. Toomre), 1997; *Jewish Life After the USSR* (with Z. Gitelman, M. Goldman), 2003; консультант трехчасовой TV серии *The Hermitage: A Russian Odyssey* для The Public TV Network, Emmy Award nominee, 1995; автор многих научных статей на английском и русском языках.

Настоящие записки были опубликованы в журнале *Experiment* (№ 24, 2018) под названием *As Life Flows On* и отрывками на русском языке — в «Рижском альманахе», № 9 (14), 2019.



www.mgraphics-books.com  
mgraphics.books@gmail.com

ISBN 978-1-950319-39-8



9 781950 319398